Прокурин Петр

26/VII-87

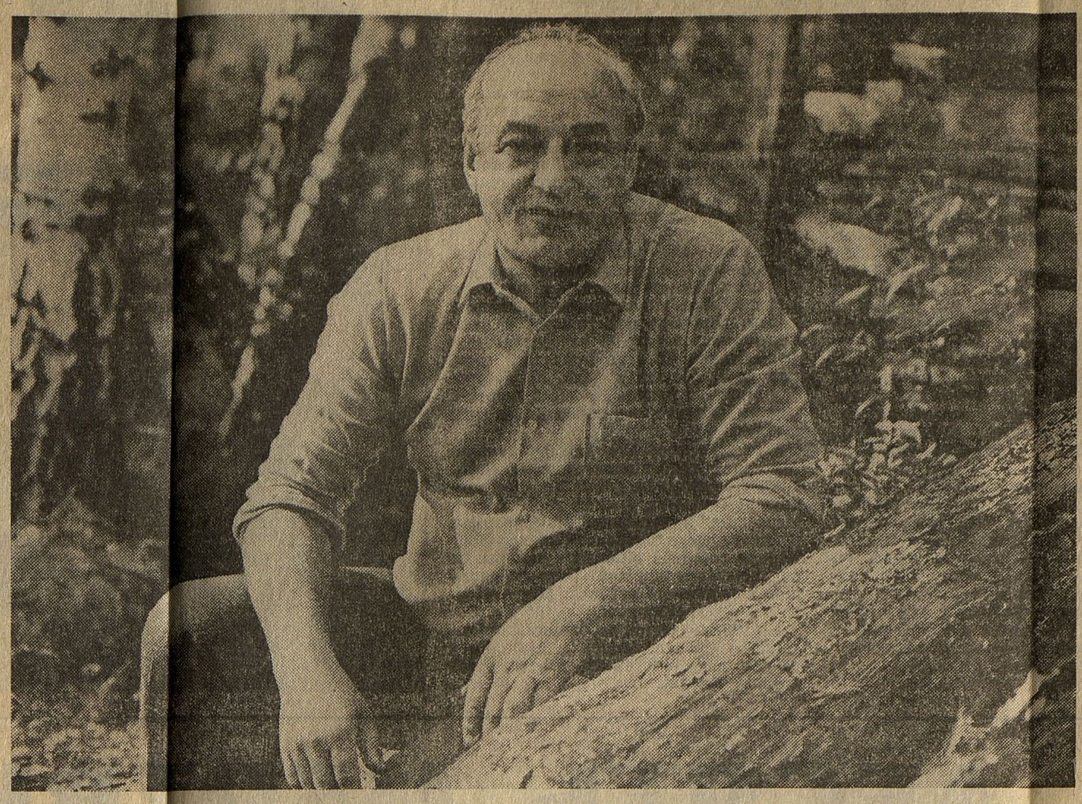
СОВЕТСКАЯ РОССИЯ 26 июля 1987 г.

БУХТА ОТРЕЧЕНИЯ

Трудно найти человека, не знакомого с героями романа лауреата Государственной премии СССР П. Л. Проскурина «Судьба». И все же напомним, что впервые в литературе имя Петра Проскурина весомо прозвучало в начале 60-х годов, когда вышел сборник его повестей и рассказов «Цена хлеба». С тех пор одна за другой рождались книги стихов и прозы — «Любовь человеческая», «Шестая ночь», «В старых ракитах», «Черные птицы», «Полуденные сны», романы «Глубокие раны», «Корни обнажаются в бурю», «Горькие травы», «Исход», «Камень сердолик».

Все эти книги глубоко народны, ибо в первую очередь в них нашло отражение основное кредо писателя—верность жизненной правде, преданность этическим и художественным принципам гуманизма.

Новый роман «Отречение» завершает цикл романов о развитии русского национального характера в сложнейших исторических условиях XX века. Уже известные нам по книгам «Судьба» и «Имя твое», герои нового романа П. Проскурина «Отречение» вместе со страной проходят путь обретения истины и себя в сегодняшней нашей действительности. Сегодня мы публикуем главу из этого романа, который полностью выйдет в журнале «Москва».



Петр Проскурин

Отрывок из нового романа

ШАЛЕНТЬЕВ хорошо знал, как мало от него лично зависит в сложном и трудном мире, и стремился не упустить ни одной, даже самой маленькой возможности продвинуть и улучшить доверенное ему дело. Там, где Петя видел поражающую воображение огромную, экзотическую, океанскую бухту, в навалах сопок, в неповторимых сочетаниях и контрастах осенних красок, первозданных и пока еще почти не тронутых человеком, и радовался этому, Шалентьев видел прежде всего некую расчетную и важнейшую, необходимую точку в цепи стратегической обороны, в создание которой он вложил толику своей жизни и судьбы; в отличие от Пети он знал о немыслимых силах, таящихся и в самой бухте, окаймленной навалами сопок и скал в пламенеющем оранжево-красном осеннем цветении, и под скалами, в каменных лабиринтах тоннелей и шахт. Раскованные малейшим движением человеческой воли, силы эти были способны испепелить целые материки, и степенью именно этого тяжкого, непереносимого знания Шалентьев теперь судил людей и их поступки, хотя хорошо понимал, что не имеет на это права. Он оправдывал себя лишь непреложным законом его положения, его должности, неукоснительно определявших любой его, пусть даже самый невинный поступок, простое человеческое движение, и ничего нельзя было изменить, пока он оставался на этом посту. Уже за полмесяца до своего, казалось бы, неожиданного прыжка за несколько тысяч километров от Москвы к океану, в один из незаметных военных гарнизонов, значившийся, однако, в самых секретных стратегических картах противоборствующих сторон, Шалентьев знал о причине, заставившей его совершить этот прыжок, но до самого решающего момента не мог бы и самому себе определенно ответить, как он будет держаться в сложившейся ситуации, скажет ли он свое «да» или «нет», и, как ни странно, такая неопределенность вызывалась отчасти и присутствием пасынка. Побывав на объектах вместе с группой прилетевших с ним экспертов и выслушав их, он, за два часа до официального заседания, попросил Лаченкова, представлявшего всемогущее ведомство Малоярцева и прилетевшего на объект неделей раньше, встретиться и заранее обговорить основные положения; увидев медлительного, с бледным, нездоровым, отечным лицом Лаченкова, с огромным желтым, сильно потертым портфелем, он, приветливо улыбнувшись, пошел ему навстречу.

— Садитесь, Степан Лаврентьевич,— пригласил он, косясь на желтый портфель и проникаясь враждебностью к нему, точно к живому существу, к этому объемистому вместилищу самых непредсказуемых резолюций, приказов, установлений, решений, готовых каждую секунду вырваться на волю и обрести громадную, гибельную разрушительную силу.—Пожалуйста, к столу, к столу, здесь удобнее...

— Гм,— вопросительно вскинул белесые, редкие, почти незаметные брови Лаченков и в ответ тоже собрал узкие нервные губы в улыбку, но на лице у него от этого лишь усилилось выражение недовольства.— Благодарствую, сяду, сяду, Константин Кузьмич, ох, куда мы с вами забрались, в наши-то с вами годы...

— Ну какие еще наши с вами годы, Степан Лаврентьевич,— принимая предложенную игру, в тон ему сказал Шалентьев.— Цветущий зрелый возраст. Ведь на месте вас не застанешь... Неделю назад позвонил, отвечают: в командировке, в Закавказье, а сейчас во-он где, уже здесь, снова за несколько тысяч верст...

Пришлось напрячься.

— Гм, гм,— Лаченков сделал новую попытку сложить губы в улыбку.— Рад вашему хорошему настроению...

— А это, Степан Лаврентьевич, от одной неизъяснимо сладостной надежды: обещали вечером устроить рыбалку. Я ведь, к вашему сведению, самозабвенный рыбак... в последний раз.. дай бог памяти, держал удочку в руках что-то около года назад...

— Непростительно, Константин Кузьмич, лишать себя в наш век положительных эмоций — непростительно! — простодушно посетовал Лаченков, вздергивая белесые невидимые брови и с интересом вглядываясь в Шалентьева.— Что же ваши молодцы так плохо за вами смотрят?

— Так ведь инструкцией не предусмотрено, Степан Лаврентьевич,— приветливо улыбнулся и Шалентьев, начиная невольно наслаждаться предложенной игрой и осознанно отдаляя момент окончательного решения.

— С удовольствием составил бы вам компанию, Константин Кузьмич,— вздохнул Лаченков и щелкнул замком портфеля, извлекая из него изящную папку с бумагами.— Никакой я не рыбак, просто с удовольствием посидел бы рядом, смотрел бы на воду и дышал... дышал... дышал. Где там! Вот с вашего разрешения, Константин Кузьмич, через два часа должен улететь... Меня срочно ждет с докладом Борис Андреевич... Не будем затягивать, прошу ознакомиться, Константин Кузьмич. Ничего, в другой раз, надеюсь, мы с вами найдем время и для души, не первый раз встречаемся, надо думать, и не в последний...

Взяв у Лаченкова бумаги, Шалентьев вяло полистал их, в некоторых местах задерживаясь и внимательно, подробно вчитываясь; Лаченков бесстрастно ждал, все так же безуспешно пытаясь сложить губы в улыбку, отчего лицо его казалось особенно напряженным и неестественным. Их действительно связывали давние отношения, еще со времен покойного Тихона Ивановича Брюханова; оба хорошо знали привычки друг друга, главное, были уверены, что хорошо их знают; Лаченков сам выходец из орловских крестьян, попадая в высокое общество, ощущавший всегда свою неуверенность, закомплексованность, не знал, куда девать руки, как справляться с лицом, как придавать ему приятное светское безличное выражение, если тебе совсем не до этого, если на душе кошки скребут от очередного разноса шефа, втайне он не любил Шалентьева за его потомственный аристократизм, небрежность и значительность интонаций, непродуманное изящество движений, умение держаться естественно и ровно при самом высоком начальстве, тогда как он, Лаченков, всегда выглядел деревянным истуканом. И сейчас, исподтишка наблюдая за нервными, сухими ухоженными пальцами Шалентьева, лениво и точно перекидывающими бумаги, Лаченков втайне завидовал и наслаждался предстоящим унижением своего противника, все равно, хочет он этого или нет, а этот патриций будет вынужден согласиться, сказать свое «да»; против воли Малоярцева пойти, как и раньше, не осмелится; пусть его побесится, покипятится, завьется винтом, пусть сам себя клюнет в одно место... А покориться придется.

Отлично понимая, что прав Шалентьев, а не он, Лаченков, прав в своем внутреннем несогласии, почти бешенстве, которое вон как дергает, несмотря на все его умение владеть собой, лицо Шалентьева, отлично понимая, что если удастся сейчас сломать Шалентьева и вырвать у него согласие, то пострадают большие и важные государственные интересы, Лаченков, однако, ничего другого не ждал и не хотел от Шалентьева, как только этого фальшивого и в то же время обязательного, ничем иным незаменимого «да»; просто Лаченков слишком хорошо знал положение дел и не видел для Шалентьева другого выхода; сказать «нет» было равносильно самоубийству. А если уж раскручивать до конца откровенно, то сказать «да» Шалентьеву нужно было не только ради личного самосохранения, но и в силу выигрыша серьезных, но временных государственных интересов; по-прежнему наслаждаясь затягивающимся молчанием, Лаченков лишь гадал: сколько времени еще потребуется для созревания этому аристократишке, рафинированному интеллигенту Шалентьеву, пять минут или же вполовину больше—целых десять?

И Шалентьев знал, что Лаченков сейчас наслаждается его душевным дискомфортом и что иначе он чувствовать себя не может, но сам не испытывал к Лаченкову враждебности или хотя бы неприязни; Лаченков другим быть не мог, он являлся всего лишь слепым исполнителем, безукоризненно вышколенным и отшлифованным обстоятельствами и требованиями самого времени; и Шалентьев, с самого начала зная о вынужденной необходимости сказать именно «да», о невозможности поступить по-другому и все же проклиная себя за некстати проснувшуюся нерешительность, тянул и медлил на потеху ждущего и наслаждавшегося Лаченкова.

Храня невозмутимое спокойствие, он наконец взял ручку, придвинул к себе бумаги, готовясь поставить свою визу и подписать, и Лаченков, внутренне торжествуя, весь подобрался. Глаза у Шалентьева сделались льдистыми, он уперся взглядом в переносье Лаченкову, там, где сходились его белесые невидимые брови.

...— Знаете, Степан Лаврентьевич, я, к сожалению, подписать актов о приемке объектов не могу, всех десяти объектов,— сказал он, испытывая минуту душевного просветления и даже наслаждения и слыша свой глуховатый голос как бы со стороны, откуда-то издалека; впрочем, и голос это был не его голос, а чей-то другой, посторонний и незнакомый; он даже слегка склонил голову, прислушиваясь.— Не могу, Степан Лаврентьевич, не подпишу,— добавил он, болезненно остро наслаждаясь своей решимостью и обреченностью.

— Изволите шутить, Константин Кузьмич,— сдвинул бесцветные брови Лаченков, в то же время ощущая какой-то обрыв в сердце; земля вначале слегка шевельнулась, затем рванулась из-под ног, и на несколько мгновений собственное тело словно перестало существовать.

— Объекты не готовы, я не возьму на себя ответственность, Степан Лаврентьевич,— сказал Шалентьев.— Вы сами знаете, насколько она велика, не по моим плечам...

— Нет, вы шутите,— опять не поверил Лаченков, и от бессмыслицы происходящего ему наконец удалось сделать невероятное; уголки его губ как бы сами собой приподнялись, и на его лице появилась довольно приятная, какая-то простецкая, с собравшейся на желтых висках кожей, орловская, хавроньина, как определила бы жена, улыбка; она словно приклеенная держалась затем в продолжение всего остального разговора; Лаченков пытался уверить Шалентьева, что он всего лишь шутит, а тот, правда, каждый раз все тверже, старался убедить и Лаченкова, и, казалось, больше всего самого себя, что шутить такими важными делами глупо, а он, как никогда, сейчас в здравом уме. Когда он это повторил еще раз, они оба почувствовали тупик, дальше расстилалась непролазная топь и глушь без единого просвета на горизонте. Улыбка на лице Лаченкова бесследно исчезла, и портфель, который он все время держал у себя на коленях, как бы уменьшился, окончательно потерял всякий цвет.

— Ну, что же, Константин Кузьмич, вы, надо думать, тщательно взвесили свое решение,— сказал он строго, по-военному вытягиваясь перед Шалентьевым.— Товарищ Малоярцев, направляя меня сюда с соответствующими инструкциями, руководствовался прежде всего государственными интересами... И не только нашими отечественными, но и стратегической глобальной концепцией равновесия... мне придется...

— Да, конечно, разумеется, придется... Я все взвесил, Степан Лаврентьевич,— ответил Шалентьев, начиная чувствовать под ложечкой сосущую пустоту, и тоже встал, выпрямился.— Если у вас есть письменное указание о принятии объектов в их натуральном состоянии...

— Вы опять шутите, Константин Кузьмич,— помедлив, справившись с новой оторопью, теперь уже с явным неодобрением сказал Лаченков, собирая бумаги со стола и укладывая их обратно в папку, а папку в портфель.— Завтра так и доложу... Я, разумеется, постараюсь обрисовать положение реалистически... Честь имею,— неожиданно для себя и скорее от окончательной нелепицы происходящего буркнул он, прощаясь всего лишь коротким кивком; и у Шалентьева мгновенно вспыхнуло какое-то далекое и тревожное воспоминание, глаза сделались узкими и острыми; что-то в жизни повторялось.

— Минутку, Степан Лаврентьевич,— быстро сказал он, опережая и останавливая готового уйти Лаченкова.— Скажите, а мы не могли встречаться с вами где-то раньше... до этой нашей совместной работы? Во время войны или где-то в предвоенные годы?

— Нет, не могли, Константин Кузьмич,— четко, с ноткой враждебности ответил Лаченков, вновь пытаясь улыбнуться и затвердевая лицом.

— Ну хорошо, так, что-то мелькнуло... видимо, показалось. Прошу прощения, Степан Лаврентьевич...

— Бывает, Константин Кузьмич,— подтвердил Лаченков, открывая противнику путь к отступлению, еще к одному шагу назад; он даже переложил свой потертый портфель из одной руки в другую, выражая полнейшую готовность вновь сесть к столу; его странная улыбка гасла и уходила.

— Докладывать придется, Степан Лаврентьевич,— вздохнул тихонько Шалентьев, сделавшись необычайно задумчивым, и они расстались, оба в полном душевном дискомфорте, Лаченков перед предстоящим объяснением с высоким начальством и от мыслей, что из этого выйдет, Шалентьев — от тяжести неожиданного, неумного и несвоевременного, как он уже считал, шага; дело свое он любил и уходить в отставку не собирался.

Неприятное чувство обрыва не проходило, и лишь к вечеру, недовольно морщась и двигаясь вслед за поплавком, он почувствовал некоторое облегчение; чтобы не бултыхнуться в ледяную воду, ему приходилось прижиматься спиной к почти отвесной гладкой скале, с углублениями у подножия, вылизанными прибоем. Поплавок из гусиного пера и пробки вот-вот должен был нырнуть, рыба брала, и, судя по поплавку, крупная, тяжелая рыба; нужно было не упустить того мгновения, когда поплавок нырнет и пойдет вниз, и, стараясь не упустить момент, он время от времени сердито морщился; его продолжала раздражать мысль о Лаченкове, и он, остановившись, прочнее расставив ноги, упершись в каменный выступ, некоторое время неподвижно глядел на бегущую прозрачную воду.

«Нет, я не ошибаюсь, мы где-то встречались, я его раньше видел... Давно, очень давно, но где и когда? — допрашивал он себя.— Сверкнувший ненавистью взгляд исподлобья... и заученная рыбья улыбка... скорее рыбья гримаса... Этот голый череп... Стоп, стоп, тогда копна пшеничных спелых волос... где? где?»

Поплавок, неожиданно скрываясь, резко пошел вниз; Шалентьев неловко присел, подсек; удилище выгнулось дугой. «Есть, есть!» — вскрикнул он и, перехватив леску руками, перебирая ее, стал подводить.

— Много бы я отдал за два дня здесь в ущелье,— протянул Шалентьев.— Полцарства за тишину...

— А что, нельзя? Не выходит?

— Ты сам первый меня осудишь... Не выдержишь ведь...

— Я-то выдержу,— улыбнулся Петя.— Мне здесь нравится... Такую благодать теперь и за деньги не встретишь...

— Нельзя,— сказал Шалентьев, забрасывая удочку и сразу же вновь отключаясь и погружаясь в радостный мир ожидания и внутреннего азарта, известного лишь истинным рыбакам и охотникам.

Солнце незаметно переместилось, и ущелье вместе со сбегавшей в бухту прозрачной холодной горной речкой раздвинулось, посветлело; оно теперь насквозь пронизывалось длинными косыми лучами; вокруг повеселело, в тайге, трудно забиравшейся по склонам, стали различаться отдельные островки лиственницы, ели и осины; в воде, даже на трехметровой глубине, отчетливо различались причудливо шевелящиеся водоросли, камешки и песок; река под нависшими над водой скалами ржаво отсвечивала.

Петя опять вспомнил Олю, ждущую и недоумевающую, и вздохнул; даже затаившиеся здесь, среди тишины и покоя, грозные силы, вызванные к жизни разумом и волей человека, запрятанные в глубокие шахты и тоннели, совершенно не ощущались, здесь люди просто ждут, думал он, ждут месяцами, годами, одни, отбыв свой срок, уходят, другие сменяют их и вновь ждут, ждут, ждут... Так они живут здесь и привыкают — ждать... В мире, начиненном огнем и ненавистью, действительно нельзя иначе; здесь, в окрестностях этой сказочно прекрасной бухты, вся жизнь сосредоточена под водой, под землей, под гранитными навалами сопок, и только бесшумные локаторы бессонно прощупывают каждый клочок неба, в аппаратах мгновенной связи бьются сверхчувствительные токи в ожидании необходимой информации. Здесь отсчет идет на секунды, на их доли. В мире, начиненном скрытым огнем, необходимо это своеобразное уравновешивание различных сторон психики, надежная и прочная опора под ногами на весьма прочной, как кажется, земле; человек зарылся здесь в камень, а наверху разумная, естественная жизнь идет себе да идет вокруг, ни о чем не подозревая; кричат, дерутся из-за добычи чайки, растут деревья, расцветают самые немыслимые краски... Глаза разбегаются от красоты.

ОТ НЕПРИЯТНОГО стягивающего ощущения в плечах Петя поежился; он неожиданно представил себе начало, вернее, те десять секунд или минут до начала конца, ради которого, вернее, чтобы не упустить его и успеть ответить, не покладая рук работал его отец, работает сейчас и отчим, работают сотни тысяч, миллионы людей. Это было немыслимо, но было именно так, изменить что-либо было нельзя.

Ему представились теперь раздвинувшиеся, многометровой толщины железобетонные плиты, открывшие ряды шахт; достаточно одного слабого движения человеческих пальцев, и из глубоких шахт, с непрерывно перемещающихся где-нибудь в лесных дебрях или в пустынях платформ тягачей, из подводных лодок вырвутся серебристые стрелы, и всего на один неуловимый момент повиснут над сопками, над океанами и степями, над лесистыми зарослями... на севере и на юге... на востоке и западе... Приказ будет распространен и приведен в исполнение в считанные секунды, и ничего не подозревающий мир еще несколько минут проведет в неведении, в последней тишине, потому что в недосягаемых высотах уже будут в неостановимом движении тысячи бездушных, неумолимых чудовищ, и затем начнут плавиться, испаряться огромные города из бетона и стали, и горы, и равнины уродливо запузырятся и закипят...

«Все, что вышло из земли, уйдет в нее и сольется с нею...» — сказал он, припоминая старую истину, и неожиданно решил, вернувшись в Москву, сразу же пойти к Оле и предложить ей немедленно зарегистрироваться; он вспомнил, как женственно и бесшумно она движется по комнате, гася свет, в прозрачной ночной сорочке, сквозь которую просвечивает тело, и тихо засмеялся. Нет, нет, сказал себе, вот этим он не будет делиться ни с кем, и с отчимом тем более. Тот, само собой, внимательно и вежливо по своему обыкновению выслушает, но посчитает его недалеким, недорослем; человек, у которого в руках такая власть и сила, смотрит на мир иначе, мерит жизнь другими категориями, не очень-то приятно выказать перед ним свою несостоятельность, инфантильность души, перед человеком, знающим то, что он знает, и сохраняющим поразительную ясность духа, жизнелюбие и открытость. А может быть, только с ним и нужно поговорить?

Успев за это время выхватить из воды еще пяток крупных хариусов, Шалентьев, теряя интерес к легкой и непрерывной удаче, отложил удочку.

«И вот жизнь, вот рыбалка! — говорил он как бы сам себе, в то же время поглядывая на пасынка и приглашая его разделить свою радость.— А этот каков, посмотри, а? Зверь! Красавец! Царь! А этот? Чуть не ушел! Тянул в несколько лошадиных сил, а? Фантазия!» Петя поддакивал, восхищался, как умел; как бы узнав друг о друге что-то хорошее, чего не знали и не могли узнать раньше, они дружно засмеялись своей детской радости и, несмотря на разницу в возрасте, сделались совсем близкими друзьями. Шалентьев оставил связку с рыбами; устроившись на камнях рядом, они закурили и тихо глядели на бегущую воду.

Они действительно мало знали до сих пор друг друга, у каждого из них была своя жизнь, и Шалентьев, будучи старше и опытнее, видел и понимал, что пасынок выстраивает свою линию жизни отчаянными руками, и, если Аленка, все чаще делясь с мужем в минуты слабости самым сокровенным, сетовала на детей и говорила, что из них ничего путного не получится, Шалентьев был иного мнения, и сейчас, поглядывая на пасынка, он убеждался в этом все больше. Петя, его сестра, другие им подобные выросли совершенно в иных условиях, получили другое воспитание, чем, допустим, сама Аленка, что же тут особого? Войны они не видали, лишений тоже, у каждого поколения свои рубцы, свои пропасти, и отцам никогда не прожить и не решить их за сыновей.

Шалентьев отвлекал себя мыслями о пасынке, чтобы не думать о себе, о своем возвращении в Москву, о вызове к Малоярцеву и разговоре с ним; он знал слишком много и не тешил себя иллюзиями. Все тонуло в словах и лозунгах, страна задыхалась от парадных речей, и все живое и деятельное, любая энергичная мысль замыкались на благополучной старческой расслабленности и старческой кастовости; давно отжившие свое старцы сидели на самых горячих, самых ответственных местах и заботились только о незыблемости раз навсегда установленного миропорядка, о собственных выгодах, о том, чтобы спокойно досидеть до конца и получить торжественное погребение... Во что это обходилось казне и государству, их не интересовало; старость была скрупулезно расчетливой и безжалостной в борьбе за продление, за каждый лишний глоток воздуха, за каждый в общем-то уже не нужный орден... Старость давно превратилась в своеобразную жреческую касту, давящую все живое, и со склеротическим эгоизмом упорно узаконивала это извращение. Можно было много раз изумляться и восклицать: ну порядки, вот порядки, страна дураков, умопомрачительная страна! Но что с того? Все равно ничего нельзя было изменить; может быть, действительно, здесь присутствовало нечто азиатское, непреодолимое, навечно вошедшее в плоть, в кровь, под таинственной неизменной улыбкой — будущий, вот-вот готовый прорваться вулкан, все загнано куда-то в преисподнюю, все шито-крыто, и на припудренных мертвых лицах стариков отсвечивала кем-то заданная им умиротворяющая улыбка, словно они и дальше приготовлялись к тихому участию в бесконечной комедии жизни...

Доходя до такого примерно вывода, Шалентьев одергивал себя. Зачем? И в самом деле, ни одному мыслящему человеку нельзя было понять, почему, допустим, о покойном президенте Рузвельте, о его нелегкой физической немощности и далеко не светлой его деятельности были опубликованы сотни монографий и художественных произведений, часто взаимно исключающих друг друга, а о современнике Рузвельта, тоже давно покойном Сталине, о его личности, так и не появилось ни одного хоть слегка объективного научного исследования; все подлинно достоверное о нем продолжало оставаться за семью печатями. Зловещий покойник по-прежнему продолжал загадочно улыбаться... Мало того, отсветы этой завораживающей загадочной личности нет-нет да и промелькнут на том или ином, ныне здравствующем, первом лице государства; а порой потусторонний отсвет придаст живой и теплой до сего времени физиономии фантастическую разукрашенность и нелепость, и она тут же начинает канонизироваться и возводиться слаженным многоголосым хором в степень божества.

Являясь по природе своей умеренным скептиком, Шалентьев не видел и в своих мыслях ничего предосудительного, на его посту здоровое критическое начало лишь помогало душевному равновесию; ему необходимо было верить в некую самоохранительную и руководящую формулу, заложенную природой в человеческий разум, даже несмотря на изрядные успехи геронтологии в продлении человеческой жизни. Он верил и говорил себе, что если человечество однажды сгорит, то он в этом не будет виноват, даже наоборот.

ПОКОСИВШИСЬ на пасынка, Шалентьев заставлял себя уйти от ненужных и опасных абстракций и сосредоточиться на более понятных и необходимых вещах; жизнь не терпела шаблона, и отцы,сталкиваясь подчас с непредсказуемыми бунтами сыновей, не могут ничего понять. Отпихивая от себя подальше красноватый, обкатанный прибоем за миллионы лет камень, он заворочался и уже открыл было рот, намереваясь спросить пасынка о его жизни, но тот, безошибочно угадывая момент, опередил.

— Знаете, Константин Кузьмич,—сказал Петя с блестящими от молодости и своей решимости глазами,— знаете, разговор уже состоялся. Больше никакого разговора не надо. Я видел — там внизу ничего не осталось, тайга, земля, камень... Я еще не знаю, что же я точно узнал и что во мне переменилось... Не хочу торопиться...

— Тебе, быть может, и не надо, а мне? — спросил Шалентьев с легкой усмешкой.— Мне казалось, ты хотел говорить со мной. Ведь и ты что-то значишь в моей жизни... Или я ошибаюсь? Если так, что ж, я понимаю... У тебя впереди вечность, поступай, как знаешь, если тебе что-то мешает...

— Нет, почему же! — возразил Петя.

— Я не герой,— помолчав, сказал он мрачно.— Обыкновенный человек, живущий по закону большинства. И этим все сказано. Обыкновенный. Это я здесь понял. Нет, Константин Кузьмич, я не страдалец, мне вычислительная машина нужна, хочу материал для диссертации добрать... защититься, мне, черт возьми, денег никогда не хватает... жениться вот хочу!

— Эк тебя прорвало! Подожди, не все сразу. Давай по порядку,— с легкой иронией одобрил Шалентьев.— Ты просто взрослеешь, Петр. Говорят, мужики до тридцати лет растут... а? Хорошо!

— Думаю, Константин Кузьмич, каждому надо начинать с самого себя. Определить для самого себя цель. Что же делать, если все сгнило, остались одни лозунги... Никто же ничему не верит...

— А вот это зря! От того, что грязные руки захватали, запачкали нашу идею, суть ее не изменилась. Лучшего человечество пока ничего не придумало, да и вряд ли придумает в ближайшее тысячелетие!

— Хотел бы я верить, как вы, Константин Кузьмич,— задумчиво сказал Петя.

— А без веры нельзя жить. Другого пути у человечества нет. Без веры в необходимость разума, добра человечество самоуничтожится. Осталось недолго. Мне тоже многое не нравится, нужна очистительная метла. Я знаю только один путь: нужно работать, работать, работать, всем и каждому над собой, улучшать себя и общество в целом...

Тут Шалентьев ясно представил себе свое возвращение в Москву, объяснительную записку и реакцию Малоярцева, почти физически ощутил на себе тусклый, безжизненный взгляд уже отрешившегося от жизни человека и продолжающего нести ее главные функции, лишь понуждаемого чужой, непреклонной волей составившегося долгими годами безжалостного окружения; Шалентьев ясно представил себе, как заработает этот идеально отлаженный механизм, немедленно избавляющийся от малейшего отклонения от трафарета, от любой посторонней примеси...

— Рядом с тобой вон какая глыбища — Обухов... Он сейчас в опале, по сути дела изгнан из Москвы, в академии о нем слышать не могут, но ведь открытий его не закроешь... Считай счастливым билетом, который ты случайно вытянул, что тебя прибило именно к нему. Потом ему будут ставить памятники, собирать по крохам, восторгаться — у нас это умеют! Сколько он крови и мне, и твоему отцу попортил, да что — нам, самому Малоярцеву! — неожиданно весело сказал Шалентьев.— Ого! Однако — человечище! Не уважать его просто нельзя... А твой отец! Я хорошо знал Тихона Ивановича, Петр... Тебя мучает степень вины твоего отца в судьбе Козловского... Но ты должен понять: для политика вообще ни принципов, ни совести, ни других подобных расплывчатых вещей попросту не существует, идеальная власть невозможна, всегда будут издержки. Отец твой стремился к тому, чтобы их было меньше. Если бы не было таких людей, как твой отец, жизнь вообще превратилась бы в кошмар, в хаос... Памяти твоего отца тебе стыдиться не надо...

Петя слушал, не поднимая глаз; он бы, если бы даже очень захотел, не смог бы сейчас взглянуть в лицо отчима; стараясь уйти от ненужных лишних объяснений, он ворошил у своих ног мелкую, разноцветную, с частыми вкраплениями слюды гальку. Никто не мог постичь и объяснить начала и завершения, и человек, сам того не осознавая, продолжал жить и действовать по законам космоса; непреоборимая сила вела его все дальше и дальше, приговорив к вечному закону движения в противостоянии противоположных начал, вплоть до самоубийства, до взаимоуничтожения; и даже, казалось бы, сугубо человеческий, сугубо трагичнейший закон знания, был заложен и развивался по непреложному пути самой природой космоса, опять-таки до самоуничтожения...

Ожидая, Шалентьев глядел на пасынка, и тот, круто поводя головой, указывая на сопки, на бухту, на притаившийся в распадке городок, плотно укутанный сейчас предвечерней первозданной тишиной, и, почему-то понижая голос, спросил:

— Константин Кузьмич... это... ну, что затаилось здесь... ведь когда-то это может сорваться, зарычать, завыть... полететь? Или все-таки это бессмысленная жестокая игра, мираж... нужный немногим избранным, так сказать, посвященным, всего лишь для власти над многими?

На разноцветную гальку, шурша ею, равномерно накатывала прозрачная, во весь берег длинная волна; Шалентьев долго молчал, неотрывно глядел куда-то на еле угадывающийся в сиреневой дымке противоположный берег бухты.

— Нет, Петр, не избранным, всем это нужно, просто нужно для сохранения жизни. Знаешь, я практик, теоретика из меня не получилось. Но я уверен, тотальная война невозможна,— буднично сказал он, наконец.— Я слишком хорошо знаю право сильного — мы должны быть готовы к войне. Только я не хотел бы дожить... а если все-таки случится, мы не имеем права опоздать с ответом. Не знаю, почему, но успеть мы должны... Вот и все. Мне теперь порой начинает казаться, что какой-нибудь дьявол, действительно, существует и порой с большим любопытством следит за всеми нами... Я порой даже начинаю различать перед собой его ехидную рожу, слышу его трескучий, издевательский хохот... Вот и ты на меня сейчас как смотришь... Ладно... Пройдет! Все пройдет... Только не пытайся совсем уж обессмыслить жизнь отца, да и мою... Какой-никакой смысл в нашем деле все-таки был и есть.

Больше они не разговаривали и вернулись в городок молча, изредка перебрасываясь ничего не значащими фразами; с океана шли сумерки, и слышался низкий, тяжелый гул.

Фото В. Ковалева.